



С. Д. ЯХОНТОВ

12 мая 1911 г.

Памяти В. О. Ключевского*

12 мая скончался известный всей образованной России историк В. О. Ключевский. Исполняя долг Председателя Комиссии не молчать об утрате своих сочленов, я прошу разрешения Собрания сказать несколько не мудреных слов о потере, какую понесла наша историческая наука, какого своего бытописателя опустила в могилу Россия и кого лишились все мыслящие русские люди. Как ученик покойного по Академии (чем горжусь!), 4 года непосредственно соприкасавшийся с его талантом и знаниями в расцвете его сил, я поневоле буду держаться в пределах личных впечатлений и воспоминаний. О нем так много было писано после его смерти, что оценка личности Ключевского и без меня сделана. Не касаюсь его особых душевных свойств. Надобно было бывать в его обществе, чтоб представить себе ту притягательную силу, с какой он собирал около себя «непраздных» людей.

Пред нами прежде всего он историк, ученый.

Дорого не только то, что он открывал в истории, а и как. В том и другом нераздельно его значение и обаяние. Когда он входил на кафедру (1878–1880 гг.) и начинал получение, полубеседу — лекцию, сразу водворялась живая тишина: все замирали, но усиленно жили. Разыгрывалась сцена, знакомая нам по детским рассказам об очарованиях при помощи глаз, постепенно приводящих жертву в неподвижность. Сравнение, если угодно, грубое. По мере того, как страница за страницей раскрывалась пред нами история русской жизни, внимание наше втягивалось все больше и больше, но не в грубый водоворот, которому вы не в состоянии противиться, а как бы в прелесть ландшафта, очарование поэзии, царство света.

* Из речи, сказанной в годичном Собрании Комиссии 26 мая 1911 г.

Шире и шире раздвигался горизонт мысли: она просветлевала. Оригинальность и увлекательность его сообщений делали давно знакомый материал новым: мимо чего проходил раньше без интереса, без внимания, — с ним останавливался, рассматривал и маленькая соринка общественной жизни вырастала в нечто крупное, солидное, ценное и необходимое по связи с общим течением жизни. Удивительно, как он умел отыскать то маленькое колесико, без которого, однако, нейдут гиганты колеса и вся машина делается неподвижной! Малозначащему, по-видимому, Ключевский умел дать ценность, смысл, важность и необходимость. Так чудесный мир насекомых ожил, в нашем понимании получил свою целесообразность в мировой гармонии и неиссякаемую прелесть и значение, когда к нему с любовью подошел, гениально подсмотрел и художественно раскрыл его тайны естествоиспытатель Фабр¹. То же сделал Ключевский и в истории давно минувшей и, по-видимому, умершей жизни. Отряхнувши толстый слой пыли с полуистлевших хартий, он с любовью прочитал их и в своих исторических «сказах» воскресил всю минувшую жизнь русского народа. Получалось впечатление: да, жизнь не умерла; все живо! «Лазаре, гряди вон!» — сказал он прошлой жизни Руси. Читая, а еще более слушая Ключевского, вы чувствуете, что уходите, уходите... от нынешней жизни и как по ниточке добираетесь до самых отдаленных по времени и самых потаенных уголков русской жизни и встает как живая седая старина, облакаются в плоть и кровь тени былого. В изучении русской истории Ключевский давал аriadнину нить, с которой не страшны были никакие извивы и извороты исторической народной жизни. Чувствуется, что водит по лабиринту сам хозяин. Его курс теперь — уложатся указатель спутник историка в его научной экскурсии; указаны пути дороги и по Северу, и по Заволжью, и чрез Муромские и Брянские леса в окраину степную; все поставлены на свое место: и служилые бояре — дворяне, и посадские люди, и перекочевывающие по шири русской — «хрещеные души», мужики-крестьяне. Ключевский вводил своих слушателей не в праздничную жизнь русского народа, а в будничную, простую, мирскую, в поле, в Суздальское болото, к холодным озерам, в Залесье*. И какою являлась из-под его исследования глубоко-осмысленною, а подчас и красочною, эффектною эта повседневщина! Но зато мы увидели настоящую подлинную жизнь. Слой на слой ложилась его историческая краска: жизнь экономическая, на нее социальная, наконец,

* Сборник, посвящ. Ключевскому.

их покрывала государственно-политическая и создавалась полная, понятная, яркая, правдивая картина. Этот метод исследования исторических явлений, выдвинутый Ключевским не теоретически, а практически, стал руководством для современных историков. Благодаря ему исследования исторические приобрели надлежащую всестороннюю полноту и жизненную правду, мелочи экономической и социальной жизни, в которых он с особенным вниманием разбирался, этот, по его собственному выражению, «мусор» подбирался в мозаику, создававшую живую картину: Исторические лица, события, явления ставились в такую перспективу, что слушателям начинало чудиться и небо Украйны, и болотно-лесной воздух Залесья, дикие взвизгивания налетающей Орды и тяжелое сопение плохо работающего мозгами боярина. Вот в этом умение научить не только понимать, но и чувствовать прошлую жизнь Ключевский и доселе не имеет себе равных. Могучая сила анализирующего ума, углублявшаяся в самые корни народной жизни, соединялась у него с необычайным художественным творчеством синтеза. В аудитории старорусской постройки, с тусклыми окнами*, под чудодейственным словом Василия Осиповича мы, слушатели, иногда доходили до исторических галлюцинаций... Вот они идут люди давние, вот она движется, то заминаясь, то бурля, русская жизнь. Проходили, сменяясь и причудливо сплетаясь, картины горя и радости, величия и падения. Московская старина с ее бытом и порядками трепетала, как живая, под волшебным словом Ключевского. Лектор заставлял и содрогаться, и тосковать, и смеяться, перенося из эпохи в эпоху.

У нас два великих историка — Соловьев и Ключевский. Соловьев — это исторический архив: к нему за справками пожалуйста; к Ключевскому — за освещением, за уразумением истории. Ключевский — это вышка княжего терема, откуда, как на ладони, виден весь удел его — Русь необъятная. Собственно говоря, только благодаря ему мы уразумели всю целиком русскую историю.

Но Ключевский не только историк ученый, а и воспитатель народный. Он выучивал любить и привязываться к своей истории. И это не было умением, искусством. После его лекций любовь к истории сама собою зарождалась. Вот почему, кто с ним занимался, тот не переставал интересоваться историей, на какую бы дорогу ни поставила его судьба впоследствии. Достигалось это без эффектов, без позы. Маленькая, немного согнутая фигурка, склонившаяся на кафедре, сидя над записочкой с цифрами, — она

* Москов. Академия.

то подергивает очки, то закладывает палец за воротник сюртука, — своеобразный, ему только принадлежавший, жест... Маленькое заикание, так шедшее к Ключевскому, придавало своеобразную прелесть его художественной спокойной речи. И все эти жесты и привычки кафедры вызывали подражание в его учениках, когда они сами со временем выходили на кафедры*. Но счастливо то, что это подражание внешнему соединялось с любовью к русской истории. Как после того, как Ив. Ег. Забелин обследовал старинную ложку, скворешницу, коробью, хотелось все эти предметы целовать, любоваться ими: так мила становилась русская земля после лекции дивного профессора. В этом отношении Ключевский не исследователь, а историк — воспитатель народный. И тысячи его учеников из одной священной памяти к нему не дерзнут произносить хулу на свое прошлое родное. В какую цену оценить этот благородной подарок учителя своим ученикам! Оттого-то он так успокоительно действовал на нервы, и особенно политические, давая всюду понять, что государственное строительство не такая простая вещь, чтоб по народной поговорке — тяп да ляп корабль. В истории все целое — корни, ствол и ветви.

Василий Осипович мало думал о таких последствиях его работ. Он только спокойно любил родную историческую жизнь, как спокойно светит солнце; пользуйся, кто хочет и кто может, на всех хватит. Он спокойно читает, спокойно говорит о минувшей русской жизни, но в этом спокойствии такая же тихая, глубокая любовь к русской земле, как у русской милой женщины — к ее семье. И дурно, и хорошо было на Руси, — но все с всепрощением и душевной теплотой...

Не могу не отметить строгое отношение Ключевского к печатному слову. Помню: во время обычного (по должности) приезда его в Сергиев Посад, в старую Лаврскую гостиницу, пришел я для беседы с ним о семестровом сочинении. В разговоре я заметил, что он слишком мало печатает. Он мне сказал: «В истории никогда не торопитесь». Печатный станок был «вымучен» и не для того изобретен, чтобы на нем «все печатать. Печатай, когда все продумано».

И он сравнительно мало печатал: за то, что напечатано, то свято. С ним почти не спорили. Полемике нет.

Для нас, археологов, он оказал великую услугу, установивши взгляд, не поучениями и трактатами, а наглядно, своим курсом, что угасшей народной жизни нет, а есть только претворение одной

* Факты.

формы в другую. Вся жизнь — и старая и новая — цельная жизнь, нераздельная. Менее всего нам ведома будничная жизнь и менее всего она интересовала историков до него, а он дал ей смысл и интерес. Дело археологии — открывать скрывшуюся душу народную. Это только и ценно, и нужно, а эта душа, как она есть, более всего воплощается в обыденной жизни. Без уменья объяснять, понимать ее проявления археология — простой музей, лавочка старьевщика. Руководство к глубокому, всестороннему пониманию действительной народной жизни Руси дал нам Ключевский...

Есть разные виды счастья: счастлив и тот, кто был слушателем или учеником Ключевского!...

Я думаю, что я не превысил свое право в день смерти Василия Осиповича, выразивши от имени Архивной комиссии соболезнование сыну его такой телеграммой:

«Рязанская архивная комиссия, со всей мыслящей Россией, оплакивает невознаградимую утрату великого историка и неподражаемого художника слова».

25 мая 1911 г.

